



24 января исполняется 75 лет со дня рождения  
 выдающегося кинорежиссера, народного артиста СССР  
 Михаила Ильича Ромма

ся, и обрушивал ураганный огонь на то, что отвергал или презирал. Он гремел, выпинался по комнате, он воспевал и испепелял.

Вот эта то яростность, раскаленность, эти бушующие восторги и негодования и есть М. И. Ромм.

— Ну, так на чем мы с вами остановились?

И наше писание продолжалось.

Я не киновед, не биограф Ромма и не претендую на то,

И я бы сказал даже философствуют порой.

Я не знал человека более преданного искусству, чем Ромм. И редко встречал человека такой честности, я бы сказал — порядочности в искусстве. В своих удивительных речах и статьях он ополчался на все, что считал вредным в нашем сложном, прекрасном деле, и превозносил без оглядки все, что считал превосходным. Советский художник, он не таился, не уходил в шепоток, он

стал настоящим, утверждал новое, неизвестное — и в себе, и в своих учениках. Он был горич во всем: и в своих публичных речах, и в оценке людей, и в своем искусстве, потому что теплое — это помоги, так он любил, бывало, говорить.

Ромм прожил счастливую жизнь, конечно, не потому, что все было гладко, спокойно и ровно в ушедших днях, а потому, что он пришел к рубежу своих больших лет как учитель в искусстве. Не по званию, а по сути своей. Его популярность художника и наставника молодежи была огромна. Это жизнь истинного художника также и потому, что он не ведал самодовольства, самонадеянности, чванства, апломба, всегда находился в поиске. Он умел искать сам и восхищался поисками других.

Апломб — признак слабости и старческого склероза. Большой художник терзается своей неумелостью даже тогда, когда создает шедевр.

Я вспоминаю наши первые годы знакомства, когда он был сценаристом, переводил на русский язык Эмиля Золя, ходил в привычной по тем временам толстовке, и когда мы с ним на первых порах мечтали о том, что все повернется в искусство. С тех пор прошла жизнь. Повернуть искусство хотя бы на дюйм неизменно оказывается беснотворно трудней, чем об этом мечтаешь, когда тебе двадцать пять лет, и ты ходишь в толетовке. И все же — от юности до кончины — советский художник Ромм искал и искал неизведанное. И очень блестяще его находил. С неистовством, честно, самозабвенно.

Долгие годы я не встречался с Роммом за рабочим столом. Но все ждал, надеялся, что еще встречу с ним, как тогда, за листом, испещренным вставками и помарками. Услышу его рассказы о фильмах и людях. Соприкоснусь с его мыслями, с его тишиной и громами...

И даже теперь мне кажется порою, что вдруг прозвучит надо мной его голос:

— Ну, так на чем мы остановились?

Евгений Габрилович

## Жизнь — поиск

На протяжении полувека работы и кино судьба сталкивала меня со многими режиссерами. Я помню Охлопкова, Пырьева, Абрама Ромма, Медведкина, Журавлева. Эйзенштейн снимал тогда в Мексике, и о его готовящейся картине говорили благоговейным шепотом, как о чуде. Мелькил иногда Мачерет в сопровождении буйного ассистента Миши. Мачерет снимал «Долг и люди» на Лесной. Миша был всего-навсего сценаристом, которому вздумалось пройти стажировку на съемках. И, конечно, никто ни на Потылихе, ни на Житной, ни на Лесной, ни в комнатах консультантов, ни в кабинетах руководящего ядра не мог бы тогда предсказать, что этот Миша и есть Михаил Ромм, который первый соиздал художественную картину о Ленине.

Нынче исполняется 75 лет со дня рождения М. И. Ромма. И я хочу вспомнить о том времени, когда мы виделись с ним чуть ли не каждый день.

Мы работали с Роммом около десяти лет и написали вместе четыре сценария: «Мечта», «Человек № 217», «Убийство на улице Данте» и «Крах». Первые три сценария стали фильмами, а «Крах» так и остался стопкой печатных листов и ушел на покой в неизвестность.

Как мы работали? Да обыкновенно. Бывало, что все шло легко, свободно и весело, и как бы само собой лепился сюжет, поднимались реплики, выростали судьбы и люди. Бывало и так, что все вдруг гасло, сникало, глохло, и мы сидели друг против друга, понуро глядя на стены и в потолок, не в силах перескочить через какой-то не-

различимый, часто даже не очень понятный барьер — этап ведь часто случается и в писательском деле. Мы просто как-то теряли вдруг силы, воображение и, хоть убей, не могли ничего придумать.

Тогда Ромм говорил:

— А ну его к бесу! Давайте о чем-нибудь поболтаем!

И начинал говорить. В его поразительной памяти как бы навечно откладывались бесчисленные случаи жизни, черточки, наблюдения, смешные и грустные повести, сюжетные ходы, реплики, и он выкладывал их попеременно, вразброд, не думая о последовательности, свободно перебрасываясь от одного к другому. И вдруг в этой сумятице фактов, слов, мыслей как бы всплескивала некая искра, срабатывал какой-то туманный контакт, и Ромм умолкал и долго глядел на меня, не видя меня. А потом говорил:

— Послушайте, а если мы сделаем так?

И следовало всегда неожиданное, не сразу понятное мне предложение, одним ударом преодолевавшее наш внутренний стопор, наш скрытый барьер.

Значит даже эти рассказы о чем-то совсем другом, разном и пестром были для Ромма как бы неосознанным допингом в работе писателя и режиссера, не прекращавшейся ни на миг.

Вообще-то он часто прерывал нашу деятельность на полуреплике, чтобы поговорить об искусстве. Человек искусства — а их не так уж невпроворот (хотя цифры вроде бы утверждают обратное) — он говорил об искусстве раскаленно, с восторгом, неистово восторгаясь тем, перед чем преклонял-

чтобы дать хотя бы эскиз его творческого пути. Обращаю ваше внимание только на то, что почти все его фильмы — это фильмы резкой, точной, кипящей температуры. Таковы и картины «Девять дней одного года» и «Обыкновенный фашизм».

Ромм показал мне «Девять дней» вскоре после завершения этой ленты на «Мосфильме», в небольшом зале, и сила этой картины, сделанной по совместному его сценарию с Д. Я. Храбровицким, ошеломила меня. Я был озадачен самим климатом ленты, когда раздумья о разных явлениях, людях, вещах становится главной опорой и существом картины. Когда именно эти раздумья (а не обилие массовых сцен) придают картине масштабность, размах, объем. Я увидел в фильме с его приглушенным пафосом, мягкой иронией и сложным сарказмом как бы разведку пути, о котором много думал в те дни.

«Обыкновенный фашизм» понимается мной тоже как лента раздумий. Это раздумье о том, как вырастает фашизм, как формируются злоба, безжалостность, кристаллизуются фанфаронство и бесчеловечность. И документальные кадры, соединенные в единый поток волей художника, не только рассказывают, но и думают.

говорил и писал в полный голос. Порой он казался мне самой совестью в нашем искусстве. Он заслужил это право своим громадным трудом, стремительностью неистового таланта. Сколь часто все мы, даже друзья его, не понимали этой стремительности, его бушеваний и обрушивали на него претензии, питаемые рутинной.

Не все в его оценках явлений киноискусства и кинодеятелей казалось мне тогда верным, но, повторяю, я не исследователь и не биограф, чтобы упоминать здесь о них. Могу лишь сказать со всей твердостью, что Ромм обладал прекрасным — и редким! — свойством не переносить свою личную неприязнь к литератору, режиссеру, актеру на то, что создано ими в искусстве. Искусство — это искусство, а личность его творцов — это нечто такое, о чем вспоминаешь только тогда, когда поостынешь от чар. И мало людей, способных так поддаться чарам, как Ромм. Этим чарам.

Да, если были у Ромма в искусстве всегдашние и лютые враги, так это косность, штампы, индустриальная самоуверенность, рутинность, заскорузлая нелюбовь ко всему необычному, непроторенному. И следует удивляться, с какой горячностью, с какой прямотой и честностью он всю жизнь боролся за то, что счи-